

Песня красного дерева

Андрей Погудин



Андрей Погудин

Песня красного дерева

<https://litres.ru/74324538>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он странный от рождения — и потому слышит то, чего не видят другие. Мир для него — оркестр запахов, вкусов и звуков. Голос труса сыплется гравием. Голос вора обтекает, как масло. А есть голос — ровный, тяжёлый, отшлифованный, как мрамор, — и Ян знает: тот, кто держит себя так ровно, прячет внутри узел.

Когда в Перми, в старом доме на Разгуляе душат юную виолончелистку, а вместе с ней исчезает дорогой итальянский инструмент, следствие идёт по уликам. И только один человек в тёмном подвале слышит по записи допроса — они взяли не того.

Андрей Погудин

Песня красного дерева

Мир просыпался по расписанию, и это было единственное, чему Ян доверял.

В шесть сорок трамвай на Ленина тормозил у поворота - долгий железный визг, холодная серебряная полоса поперёк нёба, привкус лизнутой батарейки. Ян знал этот звук наизусть и потому не боялся его.

В шесть пятьдесят два в трубах просыпалась вода и соседи снизу - бурое бульканье, вкус остывшего какао. В семь ровно закипал уже его собственный чайник: звук поднимался от низкого гудения к тонкому свисту, цвет шёл снизу вверх - от бордового к соломенному, и на самой верхней ноте Ян снимал чайник с плиты.

Когда кипяток заполнял на две трети прозрачный заварник, крупные хлопья листового чая сразу набухали. Первый вздох заварки - светло-зелёный, почти жёлтый, колючий, будто провёл пальцем по свежему сену. Через пять минут он доливал воду, запах оседал, темнел до цвета мокрой коры, густел - уже не колол язык, а ложился на него мягким войлоком, тёплым и надёжным.

Он сидел за столом бабушкиной кухни, перебирая по обыкновению нефритовые чётки - гладкие, прохладные, без всякого звука, просто зелёные, - и ждал главного.

Половина восьмого. Сейчас!

Сбоку, через стену старого дома на Разгуляе раздался звук виолончели. Арина всегда начинала с длинных нот - прогрела руку, прогрела дерево, - и эти ноты растекались по кухне тёплым янтарным гулом, густым, как гречишный мёд, с приятным послевкусием на корне языка.

Ян закрывал глаза. Во всём его дне не было ничего лучше этих десяти минут. Мир мог визжать трамваями и булькать трубами, мир мог быть колючим и громким, но пока сверху лился янтарь, всё держалось вместе. Всё было настроено.

Бабушка называла это «поймать соль». Тамара Игнатьевна сорок лет настраивала рояли и говорила, что у каждого дня есть своя опорная нота, и если её услышать с утра, день не рассыплется, мелодия будет цельной. Будет гармония.

Её голос был тёмно-зелёным, как эти чётки. Полгода как его нет, и Ян до сих пор иногда ждёт голоса бабушки в семь ровно, между чайником и виолончелью, и не дожидается, и это как нота, которая оборвалась в темноте.

Он отогнал зелёное. Слушал янтарь. Только сегодня в янтаре что-то было не так.

Ян нахмурился, не открывая глаз. Звук шёл - те же длинные ноты, тот же мёд, - но под ним, глубоко, дрожала тонкая ржавая проволока. Так бывает, когда струну ведёт от сырости, когда дерево чуть повело. Вчера этого не было. Ржавчина. Тонкая, как волос. Привкус монетки, зажатой под языком. Он прислушался, пытаясь понять, откуда она, - но вио-

лончель уже уходила вверх, к обычной своей утренней фразе, и ржавая нитка утонула в мёде.

Показалось. Наверное, показалось.

Он открыл глаза. Чай остывал. За окном сентябрьская Пермь задевала высотками низкие серые облака, и Кама где-то за домами была того же цвета, что и небо, - никакого, цвета выключенного телевизора.

Обычное утро. Опорная нота поймана. День не рассыплется.

Ян отпил чай - светло-коричневый, круглый, надёжный - и стал ждать, когда наверху виолончель встанет на паузу, чтобы Арина перевернула страницу. Так было каждый день. Пауза, шелест, снова звук.

Пауза пришла.

Шелеста не было.

* * *

Новое утро. Ян ждал. Половина восьмого.

Пауза длилась. Обычно пауза - это запятая, короткая серая царапина, а потом снова янтарь. Эта пауза не кончалась. Она росла. Она становилась не серой, а никакой - и это было хуже всего, потому что у тишины не бывает «никакого» цвета, у тишины всегда есть подкладка, шорох, дыхание дома, а тут подкладку будто вырезали ножницами.

Ян сидел очень прямо, с чашкой в руке, и слушал дыру.

Прошла минута. Он сказал себе: она отвлеклась, ей позволили, она пьёт воду. Струна вчера дрожала ржавым - может,

лопнула, может, она пошла в магазин за новой.

Прошла ещё минута. Чай в руке остыл до неприятного, свернулся из круглого светло-коричневого в плоский бурый, и Ян поставил чашку, потому что держать её стало неприятно.

Половина девятого. Виолончель молчит уже шестьдесят минут. На шестьдесят минут пауз не бывает. За шестьдесят минут мир расстраивается на четверть тона, и это чувствуешь зубами.

Он попробовал заняться делом. Разложил на столе карандаши по длине, остроте, по тому, как они шуршат. Обычно это помогало - выстроить маленький порядок, когда большой шатается. Но карандаши шуршали жёлто и сухо, и в этом жёлтом не было янтаря, и дыра наверху не закрывалась.

В девять он не выдержал.

Ян не любил туда выходить. За дверью начинался мир без расписания: чужие лестничные звуки, запах готовки, соседи, которые говорят «здрассте» и ждут, что ты ответишь вовремя и с той же громкостью. Подъезд пах кошками и сырой извёсткой - грязно-фиолетовым, липким.

Хлопнула дверь подъезда. Еще раз. Он поднялся на один пролёт, держась за перила, считая ступени, потому что счёт - это тоже опора: раз, два, три, поворот, четыре, пять.

Дверь Арины слева на площадке. Она приоткрыта.

Тонкая чёрная щель между дверью и косяком. Из щели

тянуло - и Ян остановился на верхней ступеньке, потому что из щели тянуло не так. Не кошками, не готовкой. Оттуда шёл запах, которого он не знал, а тело знало: тёплый, тяжёлый, металлический. Медный. И под медью что-то ещё - кислое, чужое.

Во рту сам собой встал вкус. Как будто лизнул батарейку, как трамвай в шесть сорок, только не холодный, а тёплый, и это было так неправильно, что желудок сжался.

- Арина? - позвал Ян.

Голос вышел тихий, серый, кривой. Никто не ответил. Дом молчал своей вырезанной тишиной, и в этой тишине его собственное сердце стучало громко и красно.

Он тронул дверь. Она подалась беззвучно.

Прихожая. Пальто на крючке. Дальше - комната, и в комнате свет из окна ложился на пол длинным белым прямоугольником, и в этом прямоугольнике Ян увидел её.

Потом он не сможет вспомнить всё сразу - только по кусочкам, потому что мир пришёл не картинкой, а ударами, каждый своим цветом.

Она лежала неправильно. Живые так не лежат - у живых даже во сне звук, шевеление, дыхание-подкладка. Здесь подкладки не было. Здесь была та самая вырезанная дыра, только теперь Ян стоял внутри неё.

Шея. На шее - полоса. Тёмная, вдавленная борозда, и Ян почувствовал её на своей шее - тонкое, тугое, стягивающее кольцо под кадыком, и он сглотнул, и глотать было больно,

будто и вправду. А на борозде, сбоку, - след. Двойной. Два маленьких вдавленных горбика рядом, как след от узла, и от этого двойного следа во рту рвануло вкусом собачьей шерсти, мокрой псиной, канифолью - так густо, что Ян зажал рот ладонью.

Он не закричал. Он никогда не кричал - крик был бы слишком громким цветом, он бы сам его не вынес. Он стоял, зажав рот, и его качало.

А потом он услышал - вернее, ощутил - и это было третьим ударом, и самым тихим, и самым страшным.

Ян медленно повернул голову к стене у окна.

Там стояла подставка для инструмента. Раскрытые ноты на пюпитре. Смычок - один, второй - лежали на своих местах, аккуратные, тонкие, с сухим коричневым покоем дерева.

А посередине, там, где всегда, каждое утро в половине восьмого рождался янтарь, - было пусто.

Острая тишина. Не серая пауза, не вырезанная дыра - а именно острая, с зазубриной, тишина на том самом месте, где сутки назад пел мёд. Виолончели не было. Её забрали. И вместе с ней из мира вынули опорную ноту, и теперь весь день, вся Пермь, всё низкое серое небо кренились набок, потому что держаться стало не за что.

Ян попятился. Плечом задел косяк - вспышка оранжевой боли, острая, спасительная, хоть что-то простое и понятное. Он выбрался на площадку, спустился - раз, два, три, поворот,

но счёт больше не помогал, ступени плыли, - и сполз по стене на пол.

Медь во рту. Псина и канифоль. Тугое кольцо на шее. И поверх всего - та зазубренная тишина, дыра на месте янтаря.

Руки тряслись так, что бусины в чётках стучали друг о друга, и даже зелёное стало дёрганым, злым. Он не мог сидеть в этом один. Надо было кому-то сказать. Надо было, чтобы пришли те, кто умеет с таким. Надо дойти до своей квартиры.

Хлопнула дверь подъезда.

На тумбочке в прихожей лежал старый кнопочный телефон - бабушкин, он так и не переоформил его на себя, всё руки не доходили, да и зачем, ведь работает. Ян схватил его обеими руками, чтобы не выронить.

Три цифры. Кнопки пискнули жёлтым, тонким, испуганным.

- Служба спасения, что у вас случилось?

Голос в трубке был ровный, обкатанный, цвета серого пластика. И на этот ровный серый Ян не знал, как положить то, что у него во рту, и на шее, и на месте вырезанного янтаря.

- Она... - Ян зажмурился. - Она не играет. За стенкой. Она всегда играет в половине восьмого, а сегодня тишина, и дверь открыта, и там... медью пахнет. И на шее полоса. И виолончели нет. Её забрали, понимаете, её забрали, а эта Арина...

- Молодой человек, назовите адрес, - уже взволнованно. -

Адрес назовите.

Адрес. Серый пластик хотел адрес. Ян назвал - Разгуляй, дом, но своя квартира или её, он уже путался, и слова кончались, потому что говорить - это громко, это цвета наружу, а внутри и так всё переполнено, ещё чуть-чуть, и он взорвётся алым.

- Оставайтесь на месте, к вам выехали. Как ваше имя? Молодой человек? Вы меня слышите?

Ян нажал отбой.

Он не мог остаться на том месте. На месте была медь, и псина, и тугое кольцо, и острая тишина сверху, - и если бы к нему сейчас пришли чужие люди с чужими голосами и стали спрашивать, спрашивать, спрашивать, он бы не выдержал, он бы сломался, как та струна, что дрожала прошлым утром ржавым.

Он положил бабушкин телефон обратно на тумбочку. Взял чётки. Забился в угол на пол между шкафом и стеной - в самое тихое, самое тёмное место квартиры, где стены держали с двух сторон, - и стал ждать, когда перестанет трясти.

Где-то далеко, за окном, за низким серым небом, в мир уже входила сирена - тонкая, красная, приближающаяся.

А в половине восьмого следующего утра, Ян знал это уже сейчас, сидя в углу, - в половине восьмого не будет янтаря. И послезавтра не будет. И никогда.

Мир расстроился насовсем.

* * *

Труп был свежий - часов десять-двенадцать, не больше. Громов определил это не по науке, а по запаху: тяжёлый, но ещё не тот, что въедается в куртку на неделю. Он стоял в дверях комнаты, не переступая порога, пока эксперт-криминалист щёлкал затвором, и разглядывал квартиру так, как разглядывал всегда, - снизу вверх, от пола к вещам, от вещей к смыслу.

Молодая. Красивая, наверное, была. На полу, в прямоугольнике света из окна. Шея - характерная борозда, ни ножа, ни крови, чисто. Задушили.

- Вера Андревна, - позвал он, не оборачиваясь. - Ты это видишь?

Следователь Соловьёва подошла, натягивая вторую перчатку. Сухая, собранная, в застёгнутом под горло плаще, будто на совещание, а не на выезд. Она посмотрела туда, куда смотрел Громов, - на стену у окна.

- Вижу ограбление.

- А я вижу шкатулку на комод, - сказал Громов. - Открытую. Серёжки, цепочка, и - вон, под краем - купюры торчат. Тысяч пять на глаз. И часики женские, приличные. Всё на месте.

- И что?

- А то, что у нас странное ограбление. - Громов обернулся. - Грабитель заходит, душит хозяйку, и уходит, не тронув деньги, золото и часы, которые лежат на самом виду в двух шагах. Зато уносит... - он кивнул на пустую стену у окна, -

вон ту здоровенную бандуру, которую даже в руках-то нести неудобно.

У окна стоял раскрытый пюпитр с нотами. Рядом - подставка, два смычка на своих местах. Между ними - пусто.

- Виолончель, - сказала Соловьёва. - По словам соседей, покойная - виолончелистка. Говорят - инструмент дорогой, старинный. Его и унесли.

- Вот именно, что дорогой и старинный. - Громов потёр переносицу, спать хотелось так, что резало глаза. - Деньги и золото - это в карман и бегом. А виолончель - это габарит, это футляр, это «мужчина с большим кофром выходит из подъезда», это надо знать, куда потом сбыть. Грабитель берёт лёгкое и ликвидное. А этот взял тяжёлое и приметное - и не тронул лёгкое. Значит, ему нужна была не нажива. Ему нужна была конкретно она. - Он помолчал. - Чёртова виолончель.

Соловьёва не ответила. Это её и отличало от прочих следяков, с которыми Громову доводилось грызться: она не спорила ради того, чтобы оставить последнее слово. Она молчала и думала. Просто выводы держала при себе, пока под ними не окажется бумага.

- Замок цел, - сказала она наконец. - Дверь не взломана. Впустила сама. Знакомый. Или знакомая.

- Знакомый, - сказал Громов. - Раз такой инструмент вместе с футляром упёр.

К ним подошёл эксперт - молодой, Витёк, в синих перчатках, с планшетом.

- Сергей Палыч, тут интересное. По борозде. - Он присел у тела, показал кончиком ручки, не касаясь. - Странгуляционная борозда одиночная, косовосходящая, глубокая. Душили тонким гибким предметом. Не руками, не широкой лентой - что-то узкое. Шнур, леска, проволока в оплётке - вскрытие уточнит.

- Струна, - сказал Громов. И сам удивился, что сказал.

- Может, и струна, - не стал спорить Витёк. - Инструмента-то нет, не сверим. Но вот что странно. - Он придвинул планшет с макросъёмкой. - Тут, сбоку, на борозде - вот, видите? Не гладкое вдавление, а двойное. Два бугорка рядом. Как будто на удавке был узел, и этот узел впечатался в кожу, когда затягивали. Причём узел не простой.

- В смысле - не простой? - Соловьёва наклонилась к экрану.

- Я такой на осмотрах видел, но не на удавках. - Витёк пожал плечами. - Двойной. С двумя перехлёстами. Похоже... ну, как хирурги вяжут. Или рыбаки некоторые. Затягивается намертво и не ползёт. Я в заключении напишу аккуратно, «сложный двойной узел», а вам говорю по-человечески: рука, которая это вязала, делала такое не первый раз. Машинально.

Громов и Соловьёва переглянулись. На секунду между ними прошло то короткое, беззвучное, как бывает у людей, много лет работающих в одном и том же, понимание, что дело будет не проходное.

- Это не для всех, - сказала Соловьёва ровно. Не вопрос - распоряжение. - Про узел - никому. Ни журналистам, ни соседям, ни своим в курилке. Это наша деталь. Витя, в заключении - сухо, без «хирургов».

- Понял, Вера Андреевна.

Соловьёва выпрямилась, обвела комнату последним взглядом - тем самым, каким закрывают папку.

- Значит, так. Пусть будет знакомый мужчина, которого она впустила. Пришёл не за деньгами. Задушил тонкой удавкой с мудрёным узлом, который связал на автомате. Забрал старинную виолончель и ушёл. - Она сухо загибала пальцы. - Ревность, страсть, деньги за инструмент - мотив ищем среди близких. Круг: мужчины рядом с ней. Бывшие, коллеги, поклонники. Работаем по кругу.

- По кругу, - кивнул Громов. - Только у меня к твоему кругу вопрос вне очереди.

- Какой?

- Кто нам позвонил?

Соловьёва достала телефон, пролистала.

- Звонок в девять пятнадцать, вызов принят как убийство. Звонивший мужчина, молодой, по описанию диспетчера - «неадекватный, путался, бросил трубку, на месте не остался». - Она подняла глаза. - Аноним.

- Ни хрена он не аноним, - сказал Громов. - В сто двенадцать аноним по мобильному не бывает. Номер есть?

- Есть. - Соловьёва чуть сдвинула брови - первый раз за

всё утро на её сухом лице проступило что-то живое. - В том и странность. Номер пробили сразу. Оформлен на некую Шелест Тамару Игнатьевну. Только вот Тамара Игнатьевна, Серёж, - она убрала телефон, - три месяца как снята с учёта. По причине смерти.

Громов медленно повернулся к ней.

- То есть нам с места убийства позвонил покойник?

- То есть нам с места преступления, - поправила Соловьёва, застёгивая планшет в папку, - позвонил кто-то с телефона покойницы. И сбежал. И знал, что тут произошло, раньше нас. - Она пошла к выходу, и уже от двери, не оборачиваясь, добавила ровным своим голосом, от которого у Громова всегда чуть холодело под ложечкой, потому что он знал, что за ним последует работа минимум на три бессонные ночи: - Вот с этого покойника, Сергей Палыч, и начнём.

Громов ещё раз оглядел комнату. Свет из окна сдвинулся, прямоугольник на полу вытянулся, почти дотянулся до края тёмной борозды на шее.

Он посмотрел на пустое место у пюпитра, между двумя одинокими смычками. «Не за деньгами этот гад пришёл, - подумал Громов. - За тобой пришёл. И за твоей музыкой».

Внизу хлопнула дверь труповозки.

* * *

Тамара Игнатьевна Шелест при жизни владела двухкомнатной квартирой в соседнем подъезде того же дома. Это выяснилось за двадцать минут - база, выписка, звонок в ЖЭК.

По той же выписке в квартире был прописан внук, Шелест Ян Дмитриевич, две тысячи пятого года рождения. Двадцать один год. Больше база о нём не знала почти ничего: ни при-
водов, ни штрафов, ни работы, ни соцсетей под настоящим
именем. Как будто человек есть - и как будто его нет.

Во дворе, на детской площадке нашлась камера, которая
краешком захватывала дверь его подъезда. Громов затребо-
вал в ТСЖ запись. В девять ноль три худой парень в мешко-
ватой толстовке выходит. В девять двенадцать входит. Быст-
ро, боком, вжав голову в плечи, будто по нему бьют сверху
невидимым молотом, и что характерно – без всякой виолон-
чели. Через три минуты звонок в службу спасения.

- Заходил к ней, увидел, вышел, спрятался у себя, позво-
нил, - сказал Громов, глядя в монитор дежурки. - И на ме-
сте не остался. Классика. Первый, кто нашёл, - первый, с кем
говорим.

- Только не дави, - сказала Соловьёва, застёгивая плащ.
- Формально он свидетель. Пока - свидетель. Опрос, объяс-
нение, без протокола. Если начнёшь ломать, а он потом ока-
жется нужен в суде, я тебе этого не прощу.

- Когда я кого ломал, Вера Андревна?

- Всегда, - сказала она. – Ночью на этой камере кто-то
есть?

- Пара собачников до полуночи, потом вообще пусто до
пяти. Виолончель не пробегала.

- Ладно. Пошли!

Дверь открыли не сразу. Громов позвонил, подождал, позвонил ещё. За дверью было тихо той особой тишиной, в которой ясно слышно, что человек там есть, но не хочет, чтобы ты знал, что он есть. Громов уже собрался стукнуть кулаком, но Соловьёва тронула его за локоть и сказала сама - негромко, ровно, без нажима:

- Ян Дмитриевич. Мы из полиции. Вы утром звонили в службу спасения. Вы всё сделали правильно. Мы только поговорить.

Дверной глазок стал тёмным. Щёлкнул замок.

Парень стоял в прихожей, сзади тускло горела лампа, и Громов сразу отметил всё то, что отмечал всегда: бледный до серости, зрачки крупные, руки не находят места - то в карманах, то по швам, то теребят какие-то бусы, зелёные, гладкие. Не смотрит в глаза. Совсем. Взгляд скользит по стенам, по плинтусу, по громовскому плечу, но не по лицу. Наркоман, была первая мысль. Он привычно поискал признаки - и не нашёл. Не наркоман. Что-то другое.

- Можно войти? - спросила Соловьёва.

- Только не громко, - сказал парень. Голос тихий, ломкий.
- Пожалуйста. Говорите тихо. И света больше не надо.

Сели на кухне. Тут был идеальный порядок, но не человеческий, а какой-то музейный: карандаши на столе выложены в ряд по длине, чашки повёрнуты ручками в одну сторону, ни одной лишней вещи. Пахло старой бумагой и остывшим чаем. На стене висела полка с книгами. Парень сел в угол на

ковер, спиной сразу к двум стенам, зажал в кулаке чётки.

Громов начал мягко - насколько умел.

- Ян, меня зовут Сергей Палыч. Я тебя ни в чём не обвиняю, слышишь? Ты позвонил, ты молодец. Просто расскажи, что было утром. С самого начала.

И парень рассказал.

Он говорил, глядя в стол, монотонно, без остановок, будто читал по бумаге, которой не было. Про то, что она всегда играет в половине восьмого. Что сегодня не играла. Что он ждал сорок минут. Что тишина была «неправильная, без подкладки». Что поднялся, что дверь была открыта, что «пахло медью». Говорил странно, не как свидетели говорят, - свидетели путаются, забегают вперед, оправдываются. Этот шёл ровно, по звукам и запахам, будто мир для него состоял в первую очередь из них.

Громов слушал и всё ждал, где парень сойдёт или запнётся. Тот не врал и не запинаясь. И тогда Громов задал вопрос, ответ на который знали пять человек в городе, и все пятеро были в его команде.

- Ты видел, чем её задушили?

- Нет, - сказал Ян. - Удавку он унёс. Вместе с виолончелью.

- Хм. А откуда ты знаешь, что была удавка? Может, руками?

- Не руками. - Парень качнулся вперёд-назад, обнял себя за плечи. - Руками - это широко, это синяки пятнами. А тут полоса. Тонкая. Струна.

- Может, шнур. Провод.

- Нет. - Ян впервые повысил голос - на четверть тона, не больше, но у него и это, видно, было много. - Струна. Жильная. Натуральная, не стальная. Я знаю её звук, я слышал её каждое утро. Такие ставят на старые виолончели. Арина душили её же струной, вы понимаете? Он снял с её инструмента струну и...

Парень осёкся. Сглотнул, будто ему самому сдавило горло.

Соловьёва сидела очень тихо. Громов чувствовал, как она напряглась рядом, - незаметно, только костяшки на папке побелели.

- А на шее сбоку, - продолжил парень, - Двойной след. Два горбика. Это узел. Он завязал узел. Двойной, тугой... - он поморщился, будто откусил что-то мерзкое, - во рту от него псина и канифоль. Такой узел не завязывают со зла. Его завязывают руки, которые вяжут его всю жизнь. Пальцы сами. Понимаете? Он думал о чём-то своём, а руки делали привычную работу.

В кухне повисла тишина.

Громов медленно откинулся на скрипнувшем табурете. Про узел не знал никто. Про то, что узел - двойной, «как хирурги вяжут, машинально», не знал вообще никто, кроме Витька, его самого и Соловьёвой, и было это установлено три часа назад. Парень, который в девять двенадцать забежал в свой подъезд и с тех пор сидел в тёмной квартире, не мог

этого знать. Не мог - а знал. И описывал точнее, чем заключение, которое ещё даже не напечатали. Сука!

Есть два объяснения, подумал Громов холодно, оставив на секунду то, что этот дёрганный парень был ему чем-то симпатичен. Либо он там был не в девять, а раньше. Либо он это и сделал.

- Ян, - сказал он ровно. - Где ты был сегодня ночью? С полуночи до утра.

- Дома. Рисовал. - Парень качнулся сильнее. - Я веду... это трансляция, стрим, там таймер есть, там видно время, можно проверить, там всё записано, я не выходил, я не люблю ночью, ночью звуки острые...

- Проверим, - кивнул Громов. - А теперь смотри на меня.

- Я не смотрю на лица, - сказал Ян. - Извините. Я не могу. От лиц слишком много всего сразу.

- Ну хоть куда-нибудь на меня смотри.

И парень посмотрел. Не в глаза - куда-то в район его груди, плеча, колена. Скользнул этим своим боковым, ускользающим взглядом. И вдруг заговорил - быстро, монотонно, как до этого про струну, только теперь про Громова, и от этого у него зашевелились волосы на затылке.

- Вы мне не верите. Но я говорю правду. Я просто не такой, как вы, но многое вижу. Чувствую. Слышу. Вы встаёте с правой ноги. Всё время. Вес держите на правой, левую бережёте. Когда садились, вы опёрлись рукой о стол, чтобы не согнуть левое колено. Оно у вас болит. Недавно - месяца два,

край подошвы на правом ботинке ещё не успел стереться под новую походку, а на левом уже стёрся не так. - Он говорил и качался. - И вы дважды тронули карман на груди. Там ничего нет. Но раньше были сигареты. Два пальца жёлтые. Вы бросили, недавно, вам плохо без них, у вас от этого голос сухой, севший, цвета остывшего пепла, и вы злитесь на весь мир по мелочам, потому что вам горько во рту всё время, и я это чувствую как свою горечь. Простите, я не хотел, я не специально, оно само лезет, но я говорю правду...

Парень зажмурился и замолчал. Обхватил колени.

Колено Громов повредил семь недель назад, при задержании на Гайве, когда взяли того с ножом. Курить бросил шесть дней как - Ленка допилила. Про колено в отделе знали двое. Про сигареты - жена и он сам. Этот парень не знал ни его, ни жены, ни Гайвы, ни ножа. Он посмотрел на него боком, всего пару секунд, - и вынул из него всё это, как вынимают занозу.

Громов покосился на Соловьёву. Та смотрела на парня так, как смотрят на предмет, который только что сам по себе сдвинулся по столу: без страха, но очень, очень внимательно. И он понял, что думают они о разном.

Она думала: этот человек ненормально много замечает и ненормально много знает про убийство. Он опасен, и я не выпущу его из поля зрения.

А он, Громов, думал совсем другое. Он думал: господи, да этот странный пацан за пару секунд считал с меня то, на что моим операм нужна неделя наружки. И описал узел точнее

эксперта. И услышал в струне, что она жильная, а не стальная. Это вот как?

Если он не убивал - а чутьё, то самое, за двадцать лет наработанное чутьё, уже говорило Громову, что не убивал, - то он не свидетель. Он - инструмент. Такой, каких не бывает.

А еще этот дерганый парень сильно напомнил ему его сына. Тому тоже было двадцать один, когда та машина... А, чёрт!

- Ладно, - сказал Громов вслух, вставая и привычно опираясь на правую руку, и поймал себя на этом движении, и почему-то разозлился. - Ян, никуда не уезжай. Мы проверим твой стрим. Если всё так - считай, мы просто поговорили и больше тебя не побеспокоим.

- Побеспокоите, - сказал Ян.

- Что? Почему?

- Вы говорите одно, но думаете другое. Я вижу. Слышу.

Громов почесал небритую щеку. Ко всем своим странностям этот парень еще работает как детектор лжи? Ну-ну...

У двери Соловьёва задержалась. Оглянулась на парня в углу, на музейный ряд карандашей, на зажатые в его кулаке нефритовые четки.

- Ян Дмитриевич, - сказала она ровно. - Вы кому-нибудь ещё рассказывали про узел? В интернете, друзьям, куда-нибудь писали?

Парень не поднял головы.

- Я нарисовал, - сказал он тихо. - Утром. Чтобы вытащить

его из себя. Он сидел вот тут, - он тронул горло, - и не уходил. Я нарисовал и выложил. На форуме. Там такие же, как я. Мы так делаем, чтобы отпустило.

Соловьёва и Громов снова переглянулись.

- Покажешь? - спросил Громов.

* * *

Таймер не соврал.

Витёк раскопал трансляцию за полчаса. Стрим на площадке для художников: чёрный экран, ползущий по графическому планшету стилус, и внизу - служебный тайм-код, который площадка пишет сама, его не подделать без взлома серверов, а серверы были в Праге.

Ян Шелест - под ником, который не гуглился, - рисовал в прямом эфире с двадцати трёх ноль восемь до четырёх утра. Без склеек. Комментировал, потом замолчал. Девятнадцать зрителей, из них один кинул в стрим донат с вопросом - и сразу получил от парня ответ.

- В ноль сорок он встаёт из кадра на две минуты, - доложил Витёк. - В туалет, видимо. Больше не отлучается. Планшет в кадре, лицо в кадре, время идёт.

- А убили когда? - спросил Громов, хотя уже знал ответ.

- Судмед даёт по температуре и трупным явлениям окно с полуночи до двух. - Витёк пожал плечами. - В это время парень рисовал перед камерой с таймкодом. Две минуты в ноль сорок дела не меняют - за это время добежать до соседнего подъезда, задушить, снять струну, унести виолончель и

вернуться невозможно при всём желании. Физически не он, Сергей Палыч.

Громов положил распечатку перед Соловьёвой. Та читала долго, дважды, будто искала, где спрятан подвох. Она не любила отпускать. Не из вредности - из принципа: пока версия не закрыта намертво, она для неё живая.

- Алиби техническое, - сказала она наконец. - Не человек подтверждает, а сервер. Сервер можно накрутить. Камера могла поймать лаг. Пусть проверят наши спецы. Скинь информацию в отдел «К».

- Сервер в Праге? Ради убийства в Перми? - Громов сел напротив. - Вера, ему двадцать один год, он от лиц шарахается, у него в квартире карандаши по линейке разложены. Ты его видела! Натуральный аутист. Правда думаешь, что он спланировал, задушил, вынес антикварную виолончель, вернулся, отрисовал алиби на пять часов в прямом эфире - и всё это не сбив дыхания?

- Я думаю, - сказала Соловьёва ровно, - что человек, который знает про узел то, чего знать не может, не бывает «ни при чём». Хорошо, алиби практически выводит его из исполнителей. Согласна. - Она отложила распечатку. - Но не из дела. Он либо видел больше, чем сказал. Либо связан с тем, кто это сделал. Либо ему кто-то слил. Три версии, и все три я закрою, прежде чем вычеркну его насовсем.

- А четвёртую не рассматриваешь?

- Какую?

- Что он правда такой. Что он вошёл, побыл там пару минут и увидел всё. Как со мной.

Соловьёва посмотрела на него - тем внимательным, ровным взглядом, который у неё заменял все прочие.

- Про твоё колено, Серёжа, он мог знать от кого угодно в отделе. Сигареты - увидел, что тянешься к карману, угадал. Это не чудо, это цирк. Хороший, но цирк. - Она собрала папку. - Я не верю в людей-рентгенов. Я верю в то, что подшито в дело. Пусть сидит дома и не выезжает из города. Свидетель! Подписку с него возьми.

Она ушла. Громов остался сидеть, вертя в пальцах распечатку с пражским тайм-кодом. Цирк? Может, и цирк. Только цирк не описывает экспертизу узел раньше самого эксперта.

* * *

Громов долго думал, искал информацию и снова думал. Парень живо напомнил ему сына - такой же несуразный, нелюдимый, но в определенные моменты решительный. Ваня в тот вечер тоже принял решение, пошел один в магазин, но домой уже не вернулся. Он не был аутистом, просто вырос таким. Этот тоже не похож на больного, он просто с особенностями.

В итоге Громов решился - приехал к Яну вечером, один, без Соловьёвой.

Парень открыл быстрее, чем утром, - видно, узнал шаги на лестнице, или что он там узнавал. В квартире горел приглушённый свет, всё так же пахло бумагой и остывшим чаем.

Громов прошел мимо стеллажа с книгами, провел пальцем по корешкам. Его Иван тоже очень любил читать.

Чайник уже стоял на плите. Ян, впустив, сразу вернулся к нему, будто это было важнее гостя, - снял с огня ровно на верхней ноте свиста.

- Вам налить? - спросил он в стену. - Только у меня без сахара. Сахар звенит.

- Налей, - сказал Громов, хотя чай любил не особо.

Он смотрел, как парень заваривает. Тот делал это медленно, сосредоточенно, будто совершал церемонию: вдохнул над чашкой первый пар, чуть поморщился - то ли одобрительно, то ли нет.

- Сейчас он колючий, - сказал Ян непонятно. - В начале всегда колючий, светлый, вверх идёт. Тонкий, как проволочка. Надо подождать, пока осядет. Пока станет коричневым и круглым. Тогда можно долить. Потом он держит.

- Держит что?

Ян не ответил. Поставил перед Громовым чашку, сел за стол, обхватил свою.

Громов отхлебнул. Обычный чай. Потом отхлебнул еще и понял, что чай - вкусный.

- Ян. Ты говорил правду. Слышишь? Я проверил твой стрим, ты не выходил, ты её не трогал. По убийству ты не проходишь.

Плечи парня опустились на палец. Немного, но Громов заметил.

- Плохая новость, следовательно, майор Соловьёва, - она тебя из дела не выпустит. Ты знаешь то, чего не должен. Для неё это красный флаг. Она будет тебя дёргать. Вызывать, спрашивать одно и то же по десять раз, разными словами, ловить на нестыковке. Официально - как свидетеля. По-человечески - как подозреваемого, которого не на чем взять.

- Я не могу, - выдохнул Ян. - Когда дёргают. Когда громко и много раз и в глаза. Я тогда... ломаюсь. Как струна. - Он сглотнул. - Она вчера лопнула, слышите? Та, которой её. Она сначала долго дрожала ржавым, а потом лопнула. Я могу так же.

Громов поставил чашку. Вот тут, подумал он, и решает-ся. Либо ты сейчас его сдашь этой мясорубке - законной, правильной, тупой мясорубке, которая его перемелет и выплюнет, - либо придумаешь что-то своё. Всё-таки парень ему нравился. Угловатый, несуразный, но с внутренним даром, который очень даже может пригодиться.

- Как ты понимаешь, когда говорят неправду?

- Я не понимаю, - ответил Ян, взяв чётки. - Я вижу цвет слов, слышу их настоящий звук, чувствую запах.

Тонкие пальцы ловко перебирали нефритовые бусины, которые поблескивали в приглушенном свете зелеными брызгами. За окном, где-то на Ленина прогрехотал на повороте трамвай. Ниточка пара приносила из кружки аромат чая.

- Слушай сюда, - решил Громов. - Есть вариант. Не под

протокол - по жизни. У нас в управлении подвал, архив. Старые дела, коробки, бумаги с семидесятых. Всё пылится, всё надо оцифровать, а денег на людей нет, никто туда не идёт - холодно, тихо, глухо. - Он заметил, как у парня чуть дрогнули ресницы на слове «тихо». - Мне нужен человек - оцифровщик. Гражданский, по договору. Сидишь в подвале, сканируешь дела, никто тебя не трогает, начальства над тобой - один я. Свет делаешь какой хочешь. Тишина - какую хочешь. Ты ведь не работаешь нигде, живёшь за счёт родителей, я проверил. Не надоело сидеть на их шее?

- Зачем вам это, - сказал Ян. Не спросил - сказал. - Вы не из доброты. Вы почти не пахнете добротой, вы пахнете расчётом, сухим, как мел.

Громов невольно усмехнулся.

- Не пахну добротой, значит. Ладно. - Он подался вперёд. - Не из доброты, верно. Мне нужно, чтоб ты был при мне. Официально - ты сотрудник архива под моим руководством, это устроит и Соловьёву: ты на глазах, не в бегах, «под приглядом». А по делу... - Он помолчал. - Ты сегодня описал узел точнее моего эксперта. Услышал в струне, что она жильная. Считал с меня колено и сигареты за секунды. Чувешь, когда говорят неправду. Не знаю, как ты это делаешь, но мне такие уши и глаза оченьгодились бы. Скажем, я буду обращаться к тебе по делам, где у нас затык. Вдруг ты увидишь их под другим углом? Посмотрим, что ты умеешь. - Громов взял чашку, отпил. - Вот и вся доброта. Или тебе

нравится сидеть тут безвылазно? Может пользу хоть какую миру принесёшь...

Парень долго молчал. Качался - чуть-чуть, туда-сюда. Держал чашку обеими руками.

- Он уже сел, - сказал наконец Ян.

- Кто?

- Чай. - Ян сделал глоток, и Громову показалось, что парня немного отпустило - плечи, руки, что-то в лице. - Стал коричневым и круглый. Держит. - Он поднял на секунду взгляд - не в глаза, на подбородок, но всё же выше, чем утром. - В подвале правда тихо?

- Как в могиле, - сказал Громов и тут же мысленно обругал себя за слово.

Но Ян не вздрогнул. Кивнул.

- Тогда я попробую. Надо вернуть миру гармонию. Только если станет громко или кто-то будет стоять близко и дышать в затылок - я уйду. Сразу. Без предупреждения. Так надо, вы поймите, это не грубость, это чтобы не лопнуть.

- Договорились, - сказал Громов и, не подумав, протянул руку.

Парень посмотрел на неё с ужасом. Руку не взял. Громов медленно убрал.

- Извините, - сказал Ян. - Чужие руки - это как схватить пучок проводов под током. Слишком много сразу. Я не могу.

- Ничего, - сказал Громов, вставая и привычно опираясь на правую. - Проводов не надо. Слов хватит.

У двери он обернулся. Парень уже отвернулся к своему чайнику, к своему ровному, надёжному коричневому кругу, - маленький, сутулый, в квартире, где всё разложено по линейке, чтобы мир не рассыпался.

- Ян. Последнее. Тот рисунок с узлом, что ты выложил утром, но не показал. Удали.

- Уже, - сказал Ян, не оборачиваясь. - Как вы ушли утром, так и удалил. Но его видели. Двенадцать человек видели. И один - не такой, как мы. Он смотрел не как художник. Он смотрел как... - Ян поискал слово, шевеля в воздухе пальцами правой, - как тот, кто ищет по картинкам и словам. Холодно. По списку.

Громов остановился в дверях.

- В смысле - искал по картинкам? Кто?

- Не знаю, - сказал Ян. - Аккаунт пустой, серый, без запаха. Зашёл, посмотрел ровно мой узел, ушёл. Не лайкнул, не написал. Как полиция. Как вы. - Он повернул голову впол-оборота. - Может, и вы. А может, и не вы.

Громов постоял ещё секунду, глядя в сутулую спину.

- Отдел «К», наверное, - сказал он больше себе. - Мониторят сеть по этому делу. Ладно. Отдыхай, Ян. Завтра пришло за тобой машину. Тихую.

Он вышел на лестницу, в грязно-фиолетовый запах извёстки, которого не чувствовал, и, спускаясь, думал две мысли сразу.

Первая: Соловьёва меня сожрёт, когда узнает, что я при-

строил её «свидетеля» к делу вплотную.

Вторая, холодная, оперская: как заставить работать на себя этот живой «детектор лжи»??

* * *

Подвал оказался лучше, чем кухня.

Ян понял это на второй день и сам удивился, потому что места «лучше кухни» до сих пор не существовало в его мире - кухня была центром, якорем, местом бабушки. Но подвал архива не притворялся домом и потому не обманывал. Он был тем, чем был: бетонная коробка под «Башней смерти» - Управлением полиции Перми, ряды стеллажей, гудящий трансформатор за стеной и ни одного окна.

Ни одного окна - значит, ни одного трамвая, ни одного чужого разговора со двора, нет резкого белого света, который засыпает глаза серебряными опилками. Тишина здесь была не вырезанной, как в то утро наверху, а полной, ровной, как тёмная вода в колодце. В такой тишине можно было наконец разжать плечи.

Первым делом он выкрутил лампу под потолком - визгливую, дневную, от которой воздух дрожал холодным стреко-том цикады. Принёс из дома свою, тёплую, с абажуром табачного цвета. Постелил на бетон кусок бабушкиного ковра, чтобы шаги не били по ушам. Сдвинул стол в угол, спиной к двум стенам. Разложил на нём карандаши по длине, чашки слева, чётки справа. Но ни одной книги – читать он будет дома, а здесь – работать.

Работать. Как странно, ведь он никогда не работал. Просто жил, просто читал, просто слушал янтарь в полвосьмого. А теперь он может если не вернуть звук, то хотя бы помочь поймать того злодея, кто его оборвал. Вернуть в мир гармонию.

Через пару дней подвал уже знал его правила и держал их. А потом навалились дела.

Громов сказал: сканируешь, подшиваешь опись, склады- ваешь в новые короба. Работа для рук, не для головы. Ян так и делал первые дни - механически, не вникая, буквы были просто серой рябью на воде тишины.

Старая бумага пахла хорошо. Не как новая - новая пах- нет резко, химозно, острым лимоном. Старая пахла тёп- лым, пыльным, ванильным, чуть горьким по краю, как кор- ка ржаного хлеба. Чем старше папка, тем гуще коричневое. Дела семидесятых пахли почти шоколадом.

Ян ловил себя на том, что вдыхает над коробкой, прежде чем открыть, стараясь угадать по запаху год. Он не собирал- ся читать. Но однажды раскрыл дело, стал расправлять за- гнутый лист, чтобы тот ровно лёг под крышку сканера - и зацепился взглядом за рябь букв.

Женщина. Упала с лестницы на даче в девяносто девятом. Несчастный случай, дело закрыто. Ян уже собрался класть лист, но глаз сам прошёл по строчкам протокола, и что-то в них было - не так.

Как та ржавая нитка в струне тем утром. Тоненькая

фальшивая нота под ровной мелодией «несчастливого случая».

Протокол звучал гладко, серо, казённо, но в одном месте, где перечисляли, что было на теле и рядом, шла крохотная заминка - будто следователь сам не заметил, как переступил через камешек. «Личные вещи в порядке, пропажи не установлено». А ниже, в описи, которую составлял другой человек, другой рукой, - «шкатулка открыта, содержимое разложено на столе». Кто раскладывает содержимое шкатулки перед тем, как упасть с лестницы?

Ян отложил лист. Посидел. Сказал себе, что это не его дело - в буквальном смысле, чужое, старое, закрытое, что его дело - сканировать. Но заминка не уходила, скреблась под кожей в районе виска.

Он начал читать дела, которые сканировал, ведь его никто не торопил. Не спеша, по листу, вдыхая коричневое. И на четвёртый вечер нашёл второе.

Оно лежало в другом коробе, за другой год - две тысячи второй, - и было совсем непохоже: мужчина, утонул в ванне, сердце. Другой город Пермского края, другой следователь, другой почерк. Ничего общего. Кроме одного слова в описи изъятого с места. Ян прочёл это слово - и оно вспыхнуло...

Ярко-алым. Резко, чисто, как капля крови на белом кафеле, как единственная красная нота в сером хоре. «Медальон». Одно слово в описи изъятого с места: «медальон серебряный, овальный, пустой». И это «пустой» горело ярче

всего - потому что пустое не бывает алым, пустое бывает никаким, как та тишина наверху. А это пустое кричало. В нём что-то было. И это что-то вынули.

Ян положил лист под лампу и разгладил ладонью, хотя тот и так лежал ровно. Вернулся к первому делу - тому, с лестницей и шкатулкой на даче. Нашёл опись, повёл пальцем по строчкам, по чужому казённому почерку. Вот.

«В шкатулке: серьги золотые - пара, кольцо обручальное, брошь, медальон овальный, металл серебристый, пустой, гнездо под вставку».

Гнездо под вставку. Пустое гнездо. В обоих делах - один и тот же пустой медальон. Не украшение - оправа. Оправа, из которой вынули то, ради чего она делалась.

Он сидел и слушал, как внутри складывается узор - не звуком, а формой, как складывается мозаика, когда два случайных куска вдруг встают кромка в кромку.

Три года между делами. Разные города края, разные следователи, разные смерти - падение и вода. Ни один из них не свёл эти дела, потому что нечего было сводить: просто несчастный случай, кому придёт в голову их связать? А они вязались. Их вязал пустой медальон - одинаковый, овальный, с гнездом под вынутую вставку. У обоих был. У обоих остался на месте - пустой. Потому что тому, кто приходил, нужен был не медальон. Нужно было то, что внутри.

Ян встал и прошёл вдоль стеллажа, ведя ладонью по стенкам коробов, по годам. Он не искал - он проверял догадку,

от которой холодело в затылке, тем самым холодом, каким тянуло из-под двери в то утро.

Если их двое - значит, могут быть и другие. Тот, кто вынимает вставки из медальонов, делает это не один раз и не два. Он делает это, когда приходит время. По одному. И каждый раз оставляет пустую оправу, чтобы всё выглядело как несчастье, как «пропажи не установлено», - потому что кто станет искать вставку, о которой не знал, что она была?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.